
ЛИТЕРАТУРА XIX в.

Русская литература

УДК 82.02+821.161.1

МАНЬКОВСКИЙ А.В.¹ РЕЦЕНЗИЯ НА КН.: ПРЕДСИМВОЛИЗМ – ЛИКИ И ОТРАЖЕНИЯ / КОЛЛЕКТИВН. МОНОГРАФ. ПОД РЕД. Е.А. ТАХО-ГОДИ. – Москва : ИМЛИ РАН, 2020. – 542 с.
DOI: 10.31249/lit/2021.02.11

Аннотация. Сборник, целиком посвященный предсимволизму, включает материалы (статьи и публикации), исследующие как теоретические аспекты движения, так и творчество отдельных писателей (А.А. Фета, А.К. Толстого, Вл.С. Соловьёва, А.Л. Волынского, И.Ф. Анненского и др.). В книге предлагаются два подхода к исследованию: «узкий» (эпоха «безвременья») и «широкий» (направление, связующее романтизм и символизм). Перед читателем именно *книга* (или «коллективная монография») со своими внутренними связями и неожиданными подтекстами.

Ключевые слова: предсимволизм; символизм; романтизм; поэзия 1870–1890-х годов; А.А. Фет; А.К. Толстой; К.К. Случевский; Вл.С. Соловьев; А.Л. Волынский; И.Ф. Анненский.

MANKOVSKY A.V. Book review: Pre-symbolism – faces and reflections.

Abstract. A collection entirely devoted to such a diverse and multifaceted phenomenon as pre-symbolism is published for the first time. The book includes articles and publications exploring both the

¹ Маньковский Аркадий Владимирович – кандидат филологических наук, старший научный сотрудник отдела литературоведения ИНИОН РАН.

theoretical aspects of the movement and the works of individual writers belonging to it: A.A. Fet, A.K. Tolstoy, V.I. Solovyov, A.L. Volynsky, I.F. Annensky, etc. The book offers two approaches to the subject: the «narrow» (pre-symbolism as a literary movement of the «years fallen out of time») and the «wide» one (as a phenomenon connecting romanticism and symbolism). The reviewed book is not just a collection of articles, but the integral work with its internal composition, interconnections and unexpected implications.

Keywords: pre-symbolism; symbolism; romanticism; Russian poetry of the 1870s – 1890s; A.A. Fet; A.K. Tolstoy; K.K. Sluchevsky; V.I. Soloviev; A.L. Volynsky; I.F. Annensky.

Для цитирования: Маньковский А.В. [Рецензия] // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 7 : Литературоведение. – 2021. – № 2. – С. 136–147. – Рец. на кн.: Предсимволизм – лики и отражения / коллективн. монограф. под ред. Е.А. Тахо-Годи. – Москва : ИМЛИ РАН, 2020. – 542 с. DOI: 10.31249/lit/2021.02.11

Предсимволизм – одно из наименее изученных явлений в истории русской литературы XIX столетия. Размышляя об этом, редактор коллективной монографии проф. Е.А. Тахо-Годи (МГУ им. М.В. Ломоносова; ИМЛИ) говорит о двух подходах, предложенных в книге, – «широком» и «узком»: ««узкий» – рассмотрение литературной ситуации эпохи “безвременья” 1870–1890-х годов, и “широкий” – понимание предсимволизма как особого направления в русской культуре, ставшего “мостом”, связующим романтизм и символизм» [3, с. 9]. Границы последнего подхода можно, кажется, даже расширить. В самом деле, какая эпоха – от Античности до высокого Средневековья и от Кватроченто до позднего XIX в. – не оказала влияния на генезис такого сложного явления, как символизм? С этой точки зрения не только всю предшествующую мировую литературу, но и искусство, и культуру вообще можно, при желании, считать *предсимволизмом*.

Подобный взгляд представлен в статье проф. В.И. Мильдона (ВГИК им. С.А. Герасимова) «Предсимволизм как русский Проторенессанс» [3, с. 15–25]. Автор не только проводит параллель между европейским и «русским Ренессансом» (он же – Серебряный век, он же – эпоха символизма), с одной стороны, и между

европейским Проторенессансом и эпохой предсимволизма в России («нашим Проторенессансом») [3, с. 17] – с другой, но и ставит достижения соответствующих периодов русской жизни даже выше западноевропейских: «Это золотое время русской культуры не имело... аналогов ни в отечественной, ни в западной истории. Даже прославленный итальянский Ренессанс XV–XVI вв. со знаменитой Платоновской академией во Флоренции не идет в сравнение по интенсивности интеллектуальных и художественных поисков “на единицу исторического времени”» [3, с. 19].

Кратким ответом на вопрос «Что же возрождалось?» могут быть слова философа русского зарубежья, ученика и оппонента Н.А. Бердяева – В.Н. Ильина: «священный антропологизм» [1, с. 249]. Другими словами: «Золотой век, начатый Пушкиным и прерванный отказом не столько от его творчества ради Некрасова и “лирики полезности”, сколько, как это видно сейчас, от высшего в человеке» [3, с. 20].

Трудно переоценить значение такого камерного явления, как лирика предсимволизма. «Священный антропологизм» звучит в стихах Фета: «Шепнуть о том, пред чем язык немеет. / Услышать бой бестрепетных сердец – / Вот чем певец лишь избранный владеет, / Вот в чем его и признак и венец»¹, – а также в стихах Вл. Соловьёва, А.К. Толстого, наконец В.А. Жуковского, которого также «с этой точки зрения» «следует отнести» к предсимволистам [3, с. 21]. И.Ф. Анненский настаивал: «Мы славим поэта не за то, что он сказал, а за то, что он дал нам почувствовать несказанное»².

Без этой тайной работы, производимой поэзией предсимволизма, как ее понимает автор, «нельзя почувствовать, что видимое – отблеск незримого; что человек не помещается весь ни в текущей жизни, ни в бесконечно длящейся истории; что он стремится стать больше себя самого» [3, с. 22].

Такой же («широкий») подход к изучаемым явлениям применен, как представляется, в статьях Ю.Д. Артамоновой «Был ли Козьма Прутков реалистом?» [3, с. 92–104] и проф. В.А. Котель-

¹ Фет А.А. Стихотворения и поэмы. – Москва, 1989. – С. 51.

² Анненский И. Избранное. – Москва, 1987. – С. 7.

никова (ИРЛИ) «Иудаизм и еврейство как этнокультурная и философская тема А. Волынского» [3, с. 428–442].

Появление в философском языке XVIII в. таких неологизмов, как «точка зрения» (школа Лейбница; энциклопедисты) и, немного позднее, «мировоззрение» (Кант), укоренение этих понятий не только в науке, но и в быту приводит к тому, считает Ю.Д. Артамонова, что литературный текст «впервые начинает восприниматься как мировоззрение конкретного человека, т.е. как специфическая (ре)конструкция мира» [3, с. 94]. Для того чтобы понять такой текст, надо «прежде всего изучить жизнь и воззрения автора», а чтобы сравнивать подобные тексты, необходимо рассматривать их «как отражение одних и тех же реалий» [3, с. 95], т.е. стоящей за текстом действительности. В результате поэмы Гомера становятся источником информации о возможном местоположении города Трои (Шлиман), а Библия – источником сведений о жизни первых христианских общин (Де Ветте, Рейсс).

Именно с таким широким контекстом исследовательница связывает генеалогию Козьмы Пруткова. Сам «образ занятий» директора Пробирной палатки показывает его «серьезные естественно-научные склонности», а его высказывания – знакомство «с классическими работами ведущих теоретиков новоевропейского естествознания» [3, с. 96]. Мишенями его тайных стрел становятся не только ретивые современники, но и Ф. Бэкон, и Леонардо да Винчи. Так, максима «Трудись, как муравей, если хочешь быть уподоблен пчеле» восходит к «Новому Органону» Бэкона, а бессмертное «Бросая в воду камешки, смотри на круги, ими образуемые...» и т.д. – к работе Леонардо «О распространении образов и о волнах». Анализируя различные аспекты «творчества» Козьмы Пруткова, автор приходит к выводу, что этот вымышленный писатель, оставивший самое невымышленное литературное наследие, «был не только сторонником реализма – но и его теоретиком» [3, с. 103].

Статья В.А. Котельникова «Иудаизм и еврейство как этнокультурная и философская тема А. Волынского» представляет собой предисловие к публикуемому впервые обширному фрагменту из неизданной книги А.Л. Волынского «Рембрандт» (1924) [3,

с. 443–491]. Волинский выдвигает гипотезу о еврейском происхождении великого голландского живописца, которую основывает – «при отсутствии достоверных биографических данных» [3, с. 439] – на самом содержании его творчества. Анализируя сюжеты его картин, неотделимые от новозаветной истории (апостол Павел в темнице; Симеон Богоприимец), или от биографии художника (портрет отца, портрет матери), или от его жизни в Амстердаме («Ночной дозор», «Урок анатомии»), Волинский как бы срывает внешний христологический покров с изображенного и обнажает иудаистический пласт. Так, апостол Павел – «это просто еврей, еврей диаспоры, еврей западноевропейского гетто» – «еврейский шнорер» [3, с. 444–445]. Сюжет Сретения предстает «бытовой еврейской сценкой каждого дня»: держа Младенца на руках, Симеон, вместо пророческих слов, передаваемых евангельским текстом (Лк. 2: 29–32), «задает Марии вопрос, обычный в таких случаях, при принятии новорожденного младенца: подлинно ли он от сего мужа?» – а Анна Пророчица, по Волинскому, становится матерью Пресвятой Девы, «проникнутой бесконечною верою в свою дочь». Отсюда – ее жест: «От удивления она развела руки чересчур широким жестом, не совсем свойственным еврейской женщине» [3, с. 449].

Такой же ясный и несомненный для него «иудаистический» смысл Волинский находит и в портретах отца и матери Рембрандта, и в «Ночном дозоре», и даже в «Уроке анатомии доктора Тульпа». Особенно разителен в этом плане портрет матери – офорт 1631–1636 гг., обычно называемый «Мать Рембрандта с рукою на груди». По замечанию В.А. Котельникова, «...по высоко поднятой и собранной в кулак кисти, не прижатой спокойно, а схваченной в движении» Волинский определяет, что «женщина представлена в типичной позе “покаянной молитвы Йом-Кипура”...», что для него является “почти документом о еврейском происхождении этой женщины”» [3, с. 440]. С точки зрения Волинского, еврейское происхождение самого Рембрандта доказано этим сполна.

Нельзя ли провести параллель между таким углубленным вчитыванием (всматриванием) в произведение искусства и тем примером, который, не заостряя на нем внимания, приводит

Ю.Д. Артамонова в своей статье [3, с. 96]: Шлиман, открывший Трою только потому, что поверил в истину описанного у Гомера? И здесь и там – один и тот же метод; уверенность в том, что художник знал, что он хотел сказать, и видел изображаемое перед собой. Даже если Волынский, в отличие от Шлимана, и не прав (почему, собственно, нельзя глубоко и правдиво изобразить еврейский мир, не будучи евреем? Разве не достаточно для этого быть художником?), такое единство метода в подходе к различным явлениям искусства говорит о многом и дает дополнительный штрих к характеристике эпохи (в широком смысле – конец XIX – начало XX в.).

Кроме отрывка из книги о Рембрандте, в сборник вошли еще две публикации: А.П. Козырев (МГУ им. М.В. Ломоносова) публикует письмо Вл.С. Соловьёва Д.Н. Цертелеву (20 июля 1874 г.) и его же письма П.И. Савваитову (1878–1879) [3, с. 233–245], а проф. С.В. Сапожков (МПУ) – письмо И.Ф. Анненского С.А. Андреевскому (9 января 1885 г.) [3, с. 343–355]. К первой публикации примыкает статья Н.В. Котрелёва (ИМЛИ) «Из неизданного и несобранного Вл. Соловьёва...» [3, с. 246–254], включающая публикацию стихотворений «Последняя вспышка минувших пожаров...» (1897), «Ирод Великий» (1898) и приписываемого Соловьёву «Разрушение Иерусалима». Первые два стихотворения были обнаружены исследователем в подборке тифлисской газеты «Кавказ» (1897–1898), последнее – в парижском журнале «Рассвет» (1926).

Письмо Вл. Соловьёва Д.Н. Цертелеву, которое, возможно, не было отослано, замечательно тем, что именно здесь он впервые признается, что «начал заниматься поэзией» [3, с. 242]. 7 и 23 июля 1874 г. датированы черновики его перевода «Ночного плавания» Г. Гейне. Цертелев начал писать стихи раньше. «Возможно, именно литературное состязание с другом юности и подтолкнуло будущего кумира русских символистов к началу его поэтического поприща», – заключает А.П. Козырев [3, с. 234].

Публикуемое С.В. Сапожковым письмо И.Ф. Анненского «представляет собой один из самых ранних критических опытов будущего автора “Книги отражений”, а из его дебютных работ, посвященных разбору произведений отечественных авторов, – ед-

ва ли не самый первый» [3, с. 343]. Таким образом, эти два публикаторских материала, отнесенных к разным разделам сборника (Вл. Соловьёв – к «Ликам “эпохи безвременья”», а И. Анненский – к «Предсимволизму в отражениях...»), имеют между собой нечто общее: упоминание и почти точная дата как первых поэтических опытов философа, предтечи русского символизма, так и одного из первых критических опытов поэта, наиболее позднего участника движения (несмотря на то что И. Анненский (р. 1855) был сверстником Вл. Соловьёва (р. 1853)), творчество которого предвосхищает уже следующую эпоху.

Отметим одно из любопытных мест письма Анненского, которое в целом посвящено обстоятельному разбору поэмы Андреевского «Обрученные» (1885). В частности, в одном из эпизодов поэмы фигурирует труп невесты героя, что позволяет поставить вопрос о возможности изображения мертвого тела в произведении искусства. Позиция Анненского по этому вопросу вполне определена: «Смелее, на сцену все, что нам нужно для раскрытия тайны человеческого духа» [3, с. 350]. Размышляя над пассажем Анненского: «Помните Вы картину “Анатэмы”<?> Труп отвратителен, но какая жизнь, какая светлая мысль, какая жажда истины на окружающих лицах! И она вызвана этим самым трупом – труп законный элемент картины» [3, с. 350–351], – публикатор затрудняется его прокомментировать: «О какой “картине” идет речь и что подразумевается под “картиной” (живописное полотно либо сцена из литературного произведения), установить не удалось» [3, с. 350, прим. 27].

Читатель сборника, способный проследить его внутренние связи и невольные переклички, в определенном смысле находится в привилегированном положении и может заметить, что весь пассаж из письма Анненского о «картине» с изображением трупа является точным описанием полотна Рембрандта «Урок анатомии доктора Тульпа», анализу содержания которого посвящает целую рубрику своей монографии А.Л. Волинский [3, с. 484–491]. Правда, чтобы это утверждать, придется предположить, что в тексте письма не «Анатэмы», а «Анатомы»; но мы не сомневаемся в правильном чтении проф. С.В. Сапожкова, а значит, наше предполо-

жение повисает в воздухе: мог ли Анненский, знаток греческого языка, так ошибиться, используя одно слово вместо другого? И все же, как кажется, сходство описания с картиной Рембрандта разительное, а ссылка именно на нее как нельзя лучше объясняет мысль Анненского.

Образец «узкого» подхода к изучаемому явлению дан в статье В.А. Геронимуса (Музей-заповедник А.С. Пушкина «Захарово – Вяземы») «Метонимия у А.С. Пушкина и поэтическая ассоциативность А.А. Фета» [3, с. 143–157]. Опираясь на идеи французских структуралистов (см., напр., [2]), автор анализирует повторяющуюся в творчестве Пушкина фигуру метонимии «неразделенное чувство и бездна или высокое чувство и географическая возвышенность» [3, с. 144], часто сопровождаемую фигурой оксюморона (просветленная грусть), как в стихотворении «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», и приходит к заключению об органической причастности у Пушкина «личного чувства к некоему крупному пространственному целому, к единству мира». И даже *мгла* в названном стихотворении, «диффузная стихия», «ведет не к хаосу, а к гармоническому слиянию воедино всех впечатлений лирического субъекта, к лирической плавности бытия» [3, с. 145]. У Фета («Странное чувство какое-то в несколько дней овладело...») «личное чувство не только алогично, но и не способно вписаться в единый ход мироздания» [3, с. 147].

Оксюморон у Пушкина («Грустен и весел вхожу, ваятель, в твою мастерскую...») мотивирован. Заимствуя у Пушкина фигуру оксюморона, Фет «художественно толкует ее в иррациональном ключе» [3, с. 149] («Ель рукавом мне тропинку завесила...»). Если у Пушкина – *грусть и веселье* (иррациональное начало умеренно присутствует), то у Фета, «скорее, *грусть-веселье* через подразумеваемый – возможный – дефис»¹ [3, с. 150]: «В лесу одному / Шумно, и жутко, и *грустно*, и *весело*»² (курсив наш. – А. М.) – в том же стихотворении.

¹ Как тут не вспомнить «Радость-Страданье» А. Блока – ученика Фета, как и все символисты. – *Прим. рец.*

² Фет А.А. Полн. собр. стихотворений. – Ленинград, 1937. – С. 239.

На примере сопоставительного анализа строк «...Навстречу северной¹ Авроры, / Звездою севера явись!» («Зимнее утро») и «Я пришел к тебе с приветом / Рассказать, что солнце встало...» («Я пришел к тебе с приветом...») автор показывает, что «решающей фигурой поэтической речи, в которой видна и преобладающая роль Фета по отношению к Пушкину, и отталкивание Фета от Пушкина, является не оксюморон, а метонимия (которую Фет намеренно разрушает)» [3, с. 150]. И далее: «Фет заимствует у Пушкина своего рода лирический контрапункт изображаемой ситуации – той или иной – и мирового целого... *В отличие от Пушкина Фет чужд имплицитной посылки “у мира есть смысл”* (курсив наш. – А. М.), поэтому у Фета мировое целое дробится на эмпирические частности и по существу аннулируется» [3, с. 155].

Фетовское отношение к женщине, как правило исключенной из мирового целого, а то и противопоставленной ему, «не имеет ничего общего с культом Прекрасной Дамы у символистов» [там же]. Однако поэтическим учителем последних стал именно Фет. Почему? Несмотря на все (убедительные) разъяснения автора, это все же остается загадкой, которая, возможно, до какой-то степени, получает освещение в одном из следующих материалов того же раздела – статье М.Я. Вайскопфа (Еврейский университет в Иерусалиме) «На краю онтологии: Заметки о метафизике А.А. Фета» [3, с. 170–185], где рассматривается связь между «философскими затруднениями» Фета и «глубинными загадками его духовной личности». Исследуя, преимущественно по письмам Фета (написанным в философской полемике с Л. Толстым), его «сбивчивые рассуждения о воле и разуме, пересекавшиеся с онтологической проблематикой», автор пытается составить «более внятное представление о скрытых истоках его лирики» [3, с. 170].

К этим материалам примыкает и статья А.Г. Грек (Москва) «К вопросу о “музыкальности” поэтического языка А.А. Фета» [3, с. 158–169]. Таким образом, Фету в сборнике посвящены три раз-

¹ В тексте статьи ошибочно «утренней», но это не препятствует точности анализа. (Автор ссылается на изд.: Пушкин А.С. Полн. собр. соч. : в 19 т. – Т. 3. – Москва, 1995. – С. 183. Но в этом издании на указанной странице зафиксировано общепринятое чтение.)

ноплановых материала; меньше, чем статей, посвященных А.К. Толстому или К.К. Случевскому (каждому по пять, и они собраны в специальные разделы: «А.К. Толстой: между романтизмом и символизмом», «К.К. Случевский: художественная практика и трактовки»), однако если учесть, что во многих материалах если и не цитируются прямо стихи Фета, то хотя бы упоминается его имя, можно сказать, что «фетианская» (от слова «фетианство») тематика составляет еще один, не собранный раздел книги.

Мы затронули лишь несколько аспектов изучаемого в коллективной монографии многогранного и чрезвычайно сложного явления, постарались выявить пять-шесть связанных или перекликающихся между собою сюжетов. За пределами нашего рассмотрения остались многие значительные материалы сборника: статья проф. С.Д. Титаренко (СПбГУ) «Русская классическая поэзия XIX в. в раннем символизме: проблема модернистского текста и индивидуальные практики» [3, с. 51–65], в которой предсимволизм 1880-х – начала 1890-х годов рассматривается как предсистема, «которая формируется не только на принципе “слома” традиций, но и на основе активной переработки и семиотизации русской классической поэзии» [3, с. 51–52]; статья проф. В.А. Кошелева (Арзамас. филиал НИНГУ им. Н.И. Лобачевского) «А.К. Толстой и феномен “медицинского” стихотворения» [3, с. 80–91]; статья проф. Е.Н. Пенской (НИУ-ВШЭ) «“Смерть Тарелкина” А.В. Сухова-Кобылина как реплика на “Смерть Иоанна Грозного” А.К. Толстого: рождение театра из пародийного комментария» [3, с. 105–126] о пометах Сухова-Кобылина в тексте и на полях экземпляра журнальной публикации трагедии А.К. Толстого (Отечественные записки. 1866. № 1. С. 1–116), хранящегося в РО ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН. В том же ряду и работа М.В. Ефимова (Выборгский объединенный музей-заповедник) «“Поставить третьестепенного К. Случевского выше В. Соловьёва”: Д.П. Святополк-Мирский и наследие К.К. Случевского» [3, с. 298–315]; статьи М.А. Самариной (Москва) «Вл. Соловьёв в главном романе Андрея Белого» [3, с. 392–405] и Г.М. Лесной (МГИМО (университет)) «Поэзия украинского предсимволизма: эстетические поиски литературной группы “Молодая Муза” в культурно-

историческом контексте начала XX в.» [3, с. 417–427], названия которых говорят сами за себя; наконец, работа проф. В.Э. Молодякова (Токио, Университет Такусёку) «Дмитрий Шестаков: между А.А. Фетом и А.А. Блоком» [3, с. 506–516] о последнем ученике Фета, продолжившем развивать традиции его поэзии в 1920–1930-х годах.

В сущности, в сборнике нет материалов проходных – в каждом или задета существенная тема, или представлены новые факты, выявлено новое или прочно забытое, но заслуживающее внимания имя¹; предложен к рассмотрению «новый», т.е. опять-таки прочно забытый, жанр² или новая методика исследования.

Часто цитируемый афоризм одного из героев сборника – «Нельзя объять необъятное» – тут как нельзя более уместен.

Следует отдать должное терпению и воле составителей, и прежде всего редактору коллективной монографии проф. Е.А. Тахо-Годи, сумевшей не только собрать книгу, украшенную именами замечательных ученых, но и выступить в нем в качестве автора. И название ее работы – «Философское осмысление образа “дома поэта” в книге К.К. Случевского “Песни из Уголка”» [3, с. 272–

¹ Такова статья О.Л. Фетисенко (ИРЛИ) «Михаил Хитрово (1837–1896) и его “Поэтические досуги” (К портрету дипломата и поэта)» [3, с. 223–232], в которой известный дипломат, сыгравший в свое время значительную (хоть и не всегда удачную) роль в балканской политике России, представлен еще и как самобытный поэт и талантливый переводчик, а соседство этого материала с «соловьевским» блоком (статья А.П. Козырева, о которой см. выше) заставляет вспомнить, что не знаящая счастья в браке жена дипломата – С.П. Хитрово (1848–1910) стала первым «воплощением Вечной Женственности» в русской литературе, да еще в глазах самого Вл. Соловьёва. Сюда же можно отнести статью А.В. Маньковского (журнал «Наше наследие») «Судьба предсимволиста в постсимволистскую эпоху...» [3, с. 517–535], построенную на материале рукописного сборника стихотворений Н.Н. Полянского (1890–1930-х годов), большинство из которых никогда не публиковалось. Неожиданным в контексте предсимволизма оказывается имя В.П. Буренина, который, будучи «охранителем», «своими писаниями» подготовил эпоху модернизма, на что указывает проф. К.А. Баршт (ИРЛИ) в статье «В.П. Буренин как оппонент и предтеча литературного модерна» [3, с. 197–213], – еще один ценный материал, поневоле обойденный нашим вниманием.

² См. статью Ю.Б. Орлицкого (РГГУ) «Прозаическая миниатюра в творчестве русских предсимволистов» [3, с. 26–50].

284] – во многом символично для сборника, ставшего «домом» для самых разных – опытных и начинающих, известных и не очень – исследователей, объединивших усилия в создании цельной, не раздробленной картины эпохи, породившей столь разнородное и все еще малоизученное явление, которое с трудом описывается единым термином, – предсимволизм.

Список литературы

1. Ильин В.Н. Валерий Брюсов. Великий мастер русского Возрождения // Ильин В.Н. Эссе о русской культуре. – Санкт-Петербург : Акрополь, 1997. – С. 241–266.
2. Общая риторика / Ж. Дюбуа, Ф. Пир, А. Тринон и др. ; пер. с фр. – Москва : Прогресс, 1986. – 392 с.
3. Предсимволизм – лики и отражения / коллективн. монограф. под ред. Е.А. Тахо-Годи. – Москва : ИМЛИ РАН, 2020. – 542 с.